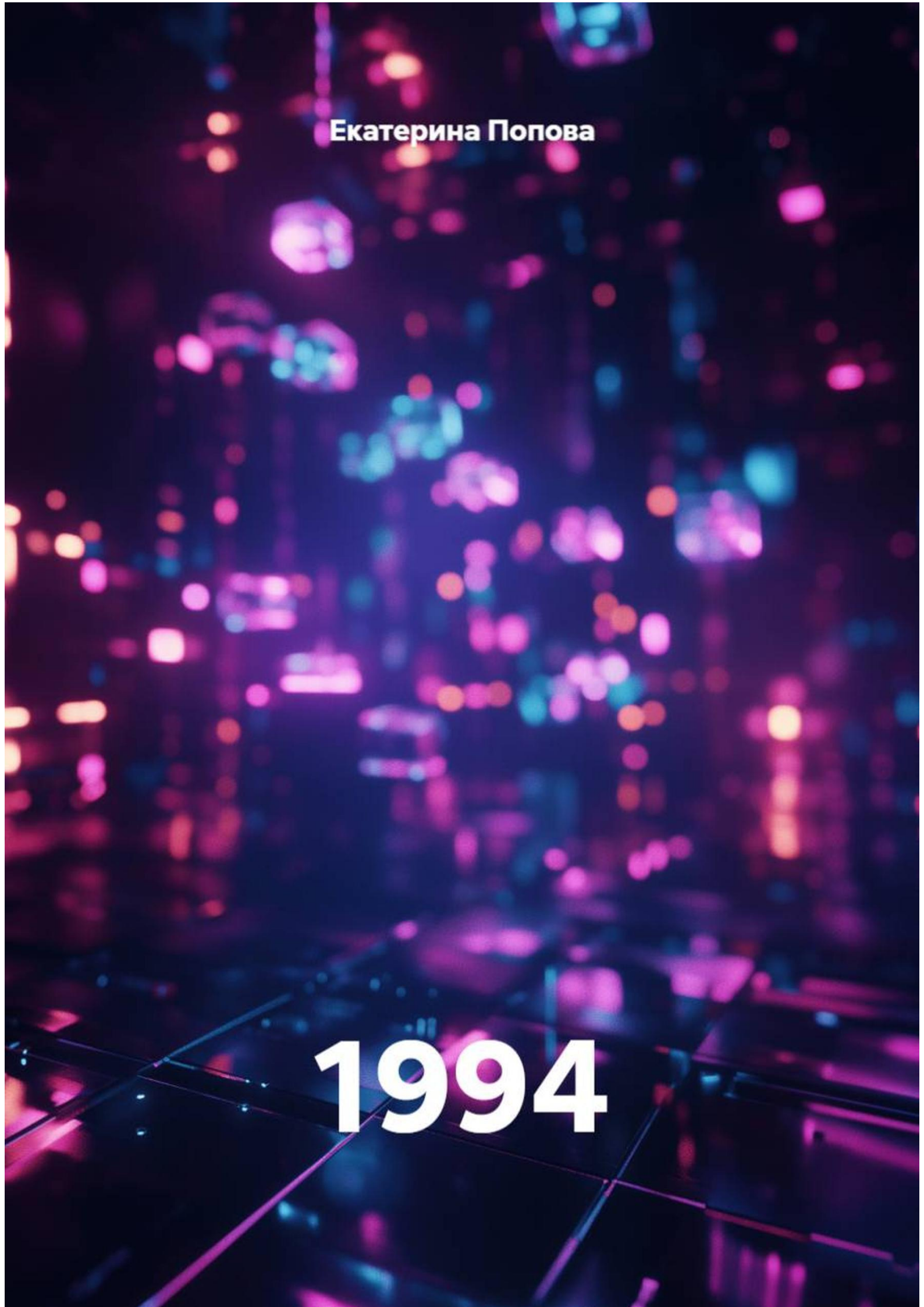




Екатерина Попова

1994

Екатерина Попова

1994

«Автор»

2026

Попова Е.

1994 / Е. Попова — «Автор», 2026

Девяностые у всех разные – для одних беспечная свобода, для других рушащийся мир. В небольшом промышленном посёлке переплетаются судьбы трёх подруг: Лизы, Ани и Тани. Одна – из семьи специалистов закрывающегося КБ, вторая – из заводских, третья – из тех, кто уже примерил новую реальность. Посёлок меняется: появляются коммерсанты, скупающие ваучеры, менты и управленцы понимают – старые правила не работают. Девушкам предстоит выбирать между вчерашней правдой и завтрашней неизвестностью. Посёлок меняется на глазах: вчерашние инженеры торгуют на рынке, у проходной крутятся коммерсанты с ваучерами, а менты и управленцы понимают – старые правила рассыпались. Трещат привычные устои, и единственное, что держит, – любовь. Тихий выбор, совершаемый без свидетелей: на кухне под лампочкой без абажура, когда все уже спят. Главный вопрос – не «как выжить», а «как остаться человеком».

© Попова Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	6
Глава 1. Победительница	7
Глава 2	13
Глава 3	21

Екатерина Попова

1994

Глава 1

Идея написать про девяностые началась не за компьютером, а в родительской гостиной. Мы собрались на очередной праздник, и гости вспоминали девяностые. У всех они оказались разными.

Мои 90-е – это школьные годы. Подруга вбегает в квартиру с криком «Я – Дункан Маклауд из клана Маклаудов!» Анкеты, Барби, «Улицы разбитых фонарей» и – как ни странно – беспечность, а ещё свобода.

У других – жуткое чувство: мир за окном вдруг начал ломаться, а ты не знаешь, что делать, и остаётся только слабая надежда, что всё это не навсегда.

Для третьих девяностые стали лучшими годами жизни: новая квартира, тачка, путешествия за границу – новая жизнь.

Четвёртые потеряли всё: работу, семью, друзей, себя.

Для пятых это чужая память. Они родились в девяностые и были слишком малы, чтобы запомнить то время. Их девяностые — не опыт. Это сериалы «Бандитский Петербург», «Бригада», тревога родителей, которую они впитали кожей, ещё не понимая причин.

А есть и те, кто родился в нулевых или позже, но точно знает: лучше, чем в девяностые, страна не жила никогда. Тогда можно было делать всё, и тебе за это ничего не было.

В нулевые закрепилась мысль: «Это не мы такие, это жизнь такая». Удобная формула. Она снимает вину, размывает ответственность, превращает человека в щепку в бурном потоке. Но когда я смотрю на тех, кто в девяностые был взрослым, – понимаю: нет, это не так. Переломные времена проверяют на излом не экономику, а душу.

Вот о чём я хотела написать. Не о времени – о людях внутри времени. И не о столице, где всё решалось быстро, жёстко и всерьёз, — а о маленьком посёлке. Там заводская труба всё ещё дымила над крышами и заглушала любые политические новости низким, утробным гулом. Там свобода была не лозунгом, а выбором, который совершался без свидетелей – на кухне, под лампочкой без абажура, когда все уже спят. Там главным вопросом было не «как выжить», а «как остаться человеком». И конечно – о любви.

А какие 90-е ваши?

Глава 1. Победительница

4 марта 1994 года в Москве, на улице Казакова, 18, в помещении ВНИИ физкультуры, арендованном под ресторан фирмой «Дагмос», были убиты шесть человек, ещё двое получили тяжёлые огнестрельные ранения.

А из Твери в третьем часу отошёл автобус в Речкино. Лиза села справа у окна — там солнце не било в глаза. В рюкзаке, между тетрадью по немецкому, лежала грамота. Плотная, глянцевая, с гербом области и её фамилией, напечатанной на машинке: «Новак Елизавета, 10 класс». Первое место.

Она не доставала её. Один раз, ещё в Твери, на автовокзале, приоткрыла рюкзак и посмотрела — просто чтобы убедиться, не забыла. Убедилась. Застегнула обратно.

За окном поля. Снег ноздреватый, с чёрными проплешинами — земля вылезла раньше срока. Вдоль трассы он серый от солянки. Грейдер сгрёб его в грязные валы ещё зимой и бросил. Лиза представляла, как войдёт в квартиру и скажет маме, что заняла первое место.

Автобус перевалился через мост, свернул, и началось своё, знакомое. Кладбищенская роща — голая, чёрная. Гаражи — ряды железных коробок, ржавых по швам. Первые дома заводской части — двухэтажки послевоенной кладки, с облупленной штукатуркой. Дальше, за ними, на горизонте — завод. Труба. Из трубы шёл дым, ровный, белый, тянулся вбок, как всегда, как вчера, как десять лет назад. Значит, работают. Значит, смена. Труба, гаражи, серый снег — всё на месте. И дым будет идти, когда она выйдет на остановке у Администрации, пройдёт мимо рынка, свернёт на Институтскую. Пахнуть будет мазутом и оттаявшей землёй.

На выбоинах у поворота к Институтской автобус трясло, и Нина Викторовна держалась за поручень одной рукой, второй придерживала на коленях папку с олимпиадными работами. Она всю дорогу от Твери говорила про немецкий — как жюри переглянулось на Лизиним переводе, как та женщина из университета сказала «крепкая девочка».

— Ты молодец, — Нина Викторовна наклонилась ближе, перекивая двигатель. — Теперь надо выбрать, в какой институт поступать. Думать нужно уже сейчас. Осталось всего ничего.

За стеклом плыли знакомые пятиэтажки, тёмные, с жёлтыми окнами. Почти везде горел свет. В её окне — на третьем этаже углового подъезда — тоже.

Она заметила его сразу: за занавеской горел тёплый, кухонный огонёк.

— О, у тебя дома кто-то есть, — Нина Викторовна проследила за её взглядом. — Родители, что ли, вернулись? Я же говорила, что придут, а ты не верила.

Лиза не ответила. Сердце дёрнулось глупо, по-детски: а вдруг они в Польше. Но окно горело, и на секунду она позволила себе просто смотреть, не думать и не знать.

Автобус остановился. Она попрощалась, спрыгнула на подтаявший снег и пошла к подъезду, придерживая лямку рюкзака.

В подъезде пахло сыростью и жареными котлетами. На третьем этаже запах стал гуще, и Лиза поняла — котлеты из её квартиры. Она повернула ключ, толкнула дверь.

— Лизавета! — из кухни выглянула тётя Вита, в мамином фартуке с васильками, с деревянной лопаткой. — Ну наконец-то, мы уж думали, ты в этой Твери жить осталась.

На маленькой кухне было тесно. Дядя Пётр стоял боком, разгружая сумки на стол — картошка в сетке, банка тушёнки, батон, свёрток в промасленной бумаге. Стол крохотный, вещи не помещались, часть уже переехала на подоконник.

— Раздевайся, руки мой, — сказала Вита. — Картошка почти готова.

Лиза стянула куртку в прихожей. От тепла и запаха еды зацепало в носу — так, что пришлось постоять секунду, глядя на свои ботинки.

Дядя Пётр обернулся, вытирая руки о джинсы. Крупный, с тяжёлыми плечами, в маленькой кухне он казался ещё больше. Взгляд его упал на рюкзак, брошенный у двери, – из-под растёгнутого клапана торчал угол картонной папки.

– Это что у нас? – Он вытянул папку двумя пальцами, раскрыл. – «Победителю областной олимпиады по немецкому языку... Новак Елизавета... первое место». – Прочитал медленно, вслух, будто пробуя каждое слово на вес. Потом поднял глаза, и по лицу прошла та самая улыбка – тяжёлая, редкая, одинаковая у него и у папы. – Ну ты даёшь. Молодец. Я всегда в тебя верил.

Он хлопнул её по плечу – большой ладонью, так что Лиза чуть качнулась. И от этого хлопка, неуклюжего, отцовского, ей вдруг захотелось сесть на пол прямо в прихожей.

– Первое место, слышала, Вита? – крикнул он.

– Слышала, слышала, – отозвалась тётя. – Ужин готов, садитесь уже, остынет.

Они втиснулись за стол. Вита разложила картошку по тарелкам, развернула свёрток – там оказалась докторская колбаса, хорошая, не всегда такую в поселковом магазине достанешь. Пётр отломил хлеба.

– Отец вчера звонил, – сказал он между делом, накалывая картофелину. – Всё нормально у них. Работают. В Польше дела, приедут позже. Может, скоро и на постоянку переберутся.

Он сказал это буднично, как про погоду. Как будто «на постоянку» – что-то простое, вроде билета.

– На постоянку, – повторила Лиза.

– Ну да. Там родня, дядя Стефан зовёт. – Пётр пожал плечами.

Скоро. Это слово повисло над столом, круглое и пустое. Лиза уже слышала его – на Новый год оно значило март, в марте, наверное, будет значить осень. У слова не было дна.

Она перевела взгляд на холодильник. Старый «Минск» гудел в углу, весь в мелких царапинах. Магнитик на месте. Деревянная матрёшка. Мама привезла её позапрошлой зимой, сунула в руку: «Будет тебе на память». Магнитик остался, а мама сначала уехала в Тамбов, потом в Польшу, и с каждым словом всё дальше, а этот кусочек дерева всё висел и висел, будто ничего не изменилось.

– Ты чего задумалась? – Вита подвинула к ней чашку. – Чаю налила. Пиквик, представляешь, Петя достал. В пакетиках. Кидаешь – и готово.

Лиза взяла чашку. Пакетик болтался на ниточке, окрашивая воду в рыжий. Дорогая штука, роскошь. Тётя Вита смотрела на неё с таким ожиданием, будто налила не чай, а целое море заботы, и его нужно было принять полностью, до дна, не расплескав.

– Спасибо. Вкусно пахнет всё. Правда.

Она отпила. Чай был горячий, крепкий, чужой на вкус – не тот, что мама заваривала в жестяной банке. Но тёплый.

Ей хотелось спросить – когда именно скоро. В каком месяце. Приедут ли они хоть попрощаться перед этой постоянной, или так и будут звонить раз в две недели, и «скоро» будет всё отодвигаться, пока не станет просто фоном, шумом, как гудение холодильника.

Она посмотрела на дядю Петра – как он ест, как крошит хлеб большими пальцами, как растегнул воротник, устав от дороги. Он приехал, привёз тушёнку и колбасу, прочитал её грамоту вслух, поздравил. Сделал всё, что мог.

И спрашивать про «скоро» было незачем. Ответа у него всё равно не было – а если бы был, легче бы не стало.

– Молодец, что домой добралась без приключений, – сказала Вита. – Тверь всё-таки, город.

– Добралась, – Лиза улыбнулась. – Нормально доехала.

Она отпила ещё чаю и стала слушать, как тётя рассказывает про очередь в магазине, про шубку Стасе, которую еле нашла. Свет на кухне горел тёплый, кухонный. И этого пока было достаточно.

Вита ставила банки на верхнюю полку холодильника – квашеная капуста, грибы в мутноватом рассоле, огурцы. «Минск» отзывался на каждую банку глухим дребезжанием, будто у него внутри что-то отходило от старости. Лиза сидела на табуретке в углу кухни, подтянув колени, и смотрела, как тётя воюет с дверцей, которая не хотела закрываться из-за грибов.

– Ты Гальке передай, – Вита не обернулась, – если с сахаром перебои, у меня три пачки есть. Поделюсь.

– Передам, – отозвался Пётр от стола. – Только Гальке не сахар нужен, ей бы, чтоб Серёга её из этой затеи вылез.

– Какой затеи?

– Да ваучерной. – Пётр отхлебнул чай. Он пил его чёрным, без ничего, и от этого, казалось, становился только суше и злее. – Ну ты сама увидишь.

Лиза хотела спросить про олимпиаду – думала, дядя первым делом спросит, как там, в Твери, кто судил, сколько было участников. Но он сел, размешал сахар, которого не клал, чисто по привычке, и заговорил про посёлок так, будто её тут неделю не было и она обязана нагонять, а она просто сидела, положив вилку, и ждала, когда он выдохнет и остановится.

– Я тут пообщался с местными. Кабэ закрыли, – сказал он. – Совсем. В феврале последним инженерам расчёт дали. Тем, кто ещё сидел.

Лиза представила пятое КБ – длинное здание за котельной, куда её однажды водил отец показывать кульманы, огромные, как двери, наклонённые под углом. Там всегда пахло тушью и разогретой пылью от ламп.

– А здание?

– Стоит. Заперто. – Пётр пожал плечами. – Семёныч там сидит, сторожит. Буржуйку себе поставил в вахтерке, батареи ж отрубили. Один на весь корпус. Идешь мимо вечером – окошко светится, одно, внизу. Как в кино.

– Один?

– А кого ещё? Сторожить-то нечего, а платить сторожу – это ещё платят, покуда бумага не кончилась. Он сидит, чай греет. Говорит, тихо, привык.

Вита наконец захлопнула холодильник, привалившись к нему бедром, и обернулась.

– Ты мне тут чаем-то душу не трави, – сказала она мужу. – Дай ребёнку поесть спокойно, без твоих фантиков.

– Я поела, тетя Вит.

– В автобусе, что ли, поела? Курицу дам.

Она уже доставала свёрток, а Пётр смотрел куда-то в сторону окна, за которым серело раннее, ещё зимнее небо, и продолжал думать вслух – Лиза уже поняла, что это именно так, вслух, а не для неё.

– Котов вот. – Он покачал головой. – Ходит, ваучеры собирает. У Гальки взял, у соседей, у кого получилось. Обещает – вложу в завод, будете акционеры, дивиденды пойдут. Слово-то какое выучил – дивиденды.

– А это плохо?

– Это никак. – Пётр отставил кружку. – Завод живой, пока директор держится. А директора держат, пока есть чем зарплату закрывать. Кончатся деньги – и никакие бумажки твои не бумажки, а фантики. Я это Серёге говорил. Он смеётся. Молодой ещё смеяться.

Лиза кивнула, хотя не поняла. Слово «фантики» зацепилось – она представила конфетные обёртки, которые пачками сдавали в школе, и на секунду картинка сложилась: завод обменивают на фантики. Она не была уверена, что так правильно, но переспрашивать не стала. Это было смешно, но по тому, как дядя сложил руки на столе – крупные, с вьёвшейся в

костяшки чернотой, которую не отмыть, – она чувствовала: страшное всё-таки есть, только оно без формы, разлитое, как сквозняк по полу.

– А в Тамбове? – спросила она. Спросила тихо, будто между делом, будто ей всё равно.

– Они сейчас там или уже в Польше?

– Пока в Тамбове. У бабушки. Отец со Стефаном мотаются в Люблин, возят продукты. Мать там с роднёй распределяет. А как устаканится – может, и совсем туда.

– Там как? У наших нормально?

Пётр глянул на неё быстро – и отвёл глаза.

– Стоит Тамбов, что ему будет. – Он опять взялся за кружку, хотя та уже, наверное, остыла. – Бабушка рынком руководит – мясо, овощи. Дед на мясокомбинате не последний человек. Работа есть – уже хорошо. Отец со Стефаном возят продукты в Люблин, а мать с роднёй там распределяет.

– Позвонят?

– Обещали к выходным. – Вита положила перед ней тарелку с курицей и хлебом. – Ешь давай. Позвонят, куда денутся.

«Куда денутся» – это они говорили про всё. Про завод, про Тамбов, про Польшу, про родителей. Как будто мир держался на одном честном слове, что никуда не денется, и стоило это слово произнести – и оно и вправду не девалось.

Лиза откусила хлеб. Он был вчерашний, чуть подсохший по краю, и от этого – свой, домашний, из поселкового магазина, а не из тверской столовой, где хлеб резали толстыми, как подошва, ломтями.

Пётр всё говорил – про то, что рынок теперь весь под кем-то, что бензин опять подорожал, что в администрации Раков ходит по коммерсам, кланяется, чтоб дали на зарплаты учителям. Лиза слушала вполуха и вдруг поняла простую вещь.

Он рассказывает это не ей. Он бы рассказывал это стене, чайнику, форточке. Просто сегодня на месте форточки сидела она. Ему самому надо было выложить всё вслух, разложить по столу, как Вита банки по полкам, – и посмотреть, что получается, сходится или нет. Не сходилось. И оттого он говорил снова и снова, теми же словами, будто от повторения цифры могли сложиться иначе.

Она смотрела на его руки, на кружку с остывшим чаем, на серое окно – и ей вдруг стало жалко его так, как она никогда не жалела взрослых. Взрослые всегда знали. А он не знал. Он сидел на её кухне и разбирался вслух, потому что дома, наверное, разбирался тоже, и там тоже не сходилось.

– Дядь Петь, – сказала она. – Всё нормально будет.

Он посмотрел на неё – и усмехнулся, не весело.

– Ты давай ешь, – сказал он. – Победительница. Мы сейчас местным развезём продуктов. А то сейчас с этим туго.

Дверь захлопнулась дважды – сначала неплотно, потом с силой, как всегда закрывал её дядя Пётр.

Лиза постояла в коридоре, слушая, как их шаги удаляются по лестничной клетке.

И стало тихо.

Она собрала со стола три чашки.

Вымыла быстро, без мыла – чай не жир.

Потом достала грамоту. Положила на учебник. Смотрела секунду. Две. Перевернула лицом вниз.

Телефон стоял на тумбочке в углу большой комнаты – бежевый, с диском, тяжёлый, как уют. Провод кто-то давно намотал на ножку стула, восьмёркой, и он так и жил намотанный, и его никто не разматывал, потому что тогда пришлось бы двигать стул. Лиза села на этот стул. Придвинула его ближе, насколько позволял провод. Они позвонят. В воскресенье звонили,

значит, могут и сегодня. Междугородний с Тамбова заказывали заранее, через восьмёрку. Иногда ждали по часу, пока дадут линию. Мама всегда кричала в трубку, будто расстояние надо перекричать: «Лиза! Лиза, ты слышишь меня?» – и Лиза слышала, отлично слышала, только за маминым голосом всегда гудел склад: чужие голоса, кто-то ругался про накладные, что-то падало.

Перед отъездом мама застёгивала на ней зимнее пальто – хотя Лиза давно застёгивалась сама – и говорила, уткнувшись в воротник, не глядя в глаза:

– Ты справишься. Ты у нас умная.

И это звучало как похвала. И одновременно как что-то другое. Как будто мама выдавала себе разрешение. Умная – значит, можно оставить, не пропадёт. Лиза тогда кивнула, потому что кивать было проще, чем понять, что именно её только что отпустили одну, а не наоборот.

Телефон молчит. В нём даже нет того гудения, которое бывает, когда линия живая. Лиза наклоняется, прикладывает ухо к трубке, не поднимая её. Тихо. Она выпрямляется.

Часы на стене показывают без четверти девять. За стеной у соседей включили телевизор, приглушённо, слов не разобрать, только интонации – кто-то что-то объявляет, торжественно и бодро, потом играет музыка.

И вот когда она уже перестаёт ждать и просто сидит на полу у тумбочки, привалившись спиной к стене, он вдруг взрывается.

Она снимает трубку раньше второго гудка. Так быстро, что палец соскальзывает с холодного пластика.

– Аллю.

– Лизонька, ну наконец-то, я звоню-звоню...

Голос мамин, но дальше, чем должен быть. Как будто она говорит из другой комнаты через приоткрытую дверь. И на линии тонкое шипение, будто кто-то мнёт целлофан у самого уха. Лиза прижимает трубку плотнее, до боли, будто так можно приблизить.

– Мам.

– Ты ела? Что у тебя на ужин было? Картошку вчерашнюю доела? Вита сказала, они мяса привезли, ты в морозилке смотрела? Не забывай хлеб доставать, а то он у нас в холодильнике каменеет, помнишь, как в прошлый раз. А в школе как, не спрашивают ничего? Уроки-то делаешь? У вас там холодно ещё, наверное, снег лежит? Тут у нас грязь одна, тепло, представляешь, февраль был, а лужи...

Она говорит без пауз, одним длинным выдохом, и Лиза слушает и не слушает – слушает не слова, а сам голос, как он поднимается и падает, как в конце каждой фразы чуть загибается вверх, будто мама сама себе не верит, что можно вот так, по телефону, дотянуться до дочери. Лиза хочет вставить что-то, но не находит куда – мама катится дальше, про картошку, про хлеб, про лужи в Тамбове.

– Мам, – говорит Лиза в паузу, которой нет, наступая прямо на слово. – Я первое место взяла. Областная олимпиада. В Твери. Первое место.

Шипение. Мама не сразу останавливается.

– Дочка, ну ты моя умница, ну надо же... первое... а из скольких там было?

– Со всей области, мам.

– Со всей области, — повторяет мама, будто пробует слова на вкус. – Ты слышишь, отец, со всей области...

И тут трубку перехватывают. Слышно, как она переходит из руки в руку, задевает что-то, стучается.

– Лизка.

Отец. Одно слово, и Лизе сразу тесно в груди. Он говорит редко и коротко, всегда как будто нехотя, и от этого каждое его слово весит больше.

– Пап.

– Молодец, – говорит он. И всё. Но в этом «молодец» нет ничего дежурного, ничего из тех слов, которыми взрослые гладят детей по голове не глядя. Он произносит его так, будто взвесил на ладони, будто это не похвала, а факт, который он теперь знает про свою дочь и который у неё уже не отнять. Лиза слышит это. Она узнала бы эту интонацию из тысячи.

– Спасибо, пап.

Он молчит секунду. В трубке шипит.

– Мы скоро, – говорит он. – Ещё немного, и всё.

Немного.

То же слово, которым сегодня днём дядя Пётр закрывал разговор, ставя на стол банку с тушёной: «Ещё немного, Лизок, потерпи». Одно и то же «немного» тянется уже с сентября, растягивается, как жвачка, и всё не рвётся. Лиза открывает рот, чтобы спросить – сколько, пап, сколько это, «немного», – но не спрашивает. Потому что она уже большая и знает: этот вопрос ни к чему не приведёт, только заставит его снова замолчать, а она не хочет, чтобы он молчал. Она хочет ещё немного его голоса.

– Ну ты давай, – говорит отец. – Не болей. Слушайся Виту.

– Хорошо.

Мама возвращается: снова про хлеб, про то, чтобы Лиза не сидела допоздна, чтобы шапку надевала. Лиза говорит «да, мам», «да», «хорошо», и они говорят ещё немного – совсем немного, потому что междугородние дороги, и это все знают, и никто не произносит вслух, – а потом кладут трубку, и в ухе остаётся долгий ровный гудок.

Лиза опускает трубку на рычаг. Медленно, чтобы не громко.

Стоит. Минуту, может, больше. Не убирает руку – пока держит, они ещё немного здесь.

Потом пальцы соскальзывают.

Гудок смолкает. И становится слышно, как на кухне капает кран.

Глава 2

4 марта 1994 г. Состоялся 61-й старт по программе «Спейс Шаттл» (миссия STS-62).

А в посёлке Речкино, на лестничной клетке дома 1 на Институтской, пахло сыростью, кошками и подмёрзшей штукатуркой. Вита придержала дверь, чтобы та не хлопнула, – сама не знала зачем, ведь Лиза осталась наверху, а внизу никого. Просто привычка, что ли, из тех времён, когда в подъездах ещё было кого будить.

Пётр спускался впереди, тяжело, по-медвежьи, ставя ногу на каждую ступеньку, и молчал так, что молчание это было слышнее любого слова.

– Худенькая она, – сказала Вита ему в спину. – Ты видел, как ест? Ключнула и всё. Будто одолжение делает тарелке.

– Немецкий у неё, а не аппетит, – отозвался Пётр. – Первое место. Ты грамоту видела? Печать с гербом.

– Грамоту видела. А кто ей суп будет варить, когда мы уедем? Грамота, что ли?

Пётр не ответил. Он вообще на такие вопросы не отвечал – не потому, что ответа не было, а потому, что ответ был неприятный. Вита это за годы изучила. Замолчал – значит, согласен, но признавать не хочет.

– Соседи присмотрят, – сказал он наконец, уже у самого выхода, толкая плечом разбухшую от сырости дверь. – Галя Котова обещала. И Лиля.

– Соседи. – Вита фыркнула, но тихо, чтобы не обидеть. – У Лили своих трое. Галя разве только. У всех своих полно, а девка чужая, одна, в четырёх стенах. Пятнадцать лет.

– Пятнадцать. Взрослая уже.

– Это ты в пятнадцать взрослый был. А она девочка домашняя.

Они вышли во двор, и мартовский холод сразу взялся за щёки, полез под воротник. Небо над крышей девятиэтажки, той самой, буквой «Г», было уже не дневное, а такое сумеречное, лиловатое, когда снег на земле светится больше, чем воздух. Из форточек тянуло жареным луком – кто-то ужинал. Где-то далеко, на заводской стороне, гуднул тепловоз, длинно, тоскливо, и звук растворился в стынущем воздухе.

Газель стояла у самого подъезда, косо, как Пётр её всегда ставил, – одним колесом на утопанный сугроб. За ночь и день лобовое стекло схватилось наледью, мутной, в разводах, будто кто-то дышал на него и не вытер. Внутри салона горел желтоватый плафон, и в этом свете было видно затылок Димы – сын сидел на переднем сиденье, склонившись, и что-то перекладывал на коленях.

– Отскребать надо, – сказал Пётр, ни к кому не обращаясь.

Он полез в карман телогрейки, достал связку ключей, выбрал самый большой, от гаража, и начал скрести стекло – не торопясь, широкими, ленивыми движениями, будто у него впереди был весь вечер и вся ночь, и все девяностые годы разом. Наледь поддавалась плохо, сходила белой крошкой, оседала на дворники.

– Скребок купи, – сказала Вита. – Что ты ключами, как в войну.

– Скребок был. Дима куда-то дел.

В машине Дима обернулся, увидел их сквозь очищенную полоску стекла, опустил окно. Внутри пахло теплом, бензином и почему-то яблоками.

– Пап, тут у Котовых мешок какой-то отдельно завязан, – сказал он. – Написано «Лиле». А у Марковых который?

– Который в багажнике сверху. С картошкой не путай. Картошка Котовым.

– Да я не путаю. – Дима сказал это тем голосом, каким взрослеющие сыновья говорят с отцами: и терпеливо, и обиженно сразу. – Тут просто три мешка и все одинаковые.

– Одинаковые ему. – Пётр качнул головой, отскрёб последний угол стекла и отступил, разглядывая работу. – Разберёшься. Не маленький.

Вита смотрела на них двоих – на большого молчаливого мужа со связкой ключей в красной от холода руке и на сына, высунувшегося из тёплой машины, – и думала совсем не о мешках. Она думала о том, что вот эти двое сейчас сядут и поедут по вечернему посёлку, будут заносить в чужие квартиры картошку, банки, кульки. Пётр обошёл машину, взялся за холодную ручку двери. Металл лязгнул. Дима уже отвернулся к своим мешкам, сосредоточенно шевеля губами, – считал, наверное, или читал надписи. Из выхлопной трубы, когда Пётр повернул ключ, вырвался белый клуб, и мотор схватился не сразу, кашлянул, заглох, потом всё же затахтел ровно, по-старчески.

Дверь открылась ещё до того, как Пётр успел нажать на кнопку звонка, – Лиля, видно, слышала, как хлопнула внизу подъездная дверь, и вышла встречать. Она стояла на пороге в фартуке в мелкий цветочек, руки мокрые, красные, с них капало прямо на клеёнку коврика.

– Петя! Ну наконец-то! – Она вытерла ладони о фартук, но толку от этого было немного, и потянулась сразу к сумке, что Пётр держал в опущенной руке. – Давай, давай сюда, чего ты держишь. Тяжёлая же.

– Да не тяжёлая, – сказал Пётр, но сумку отдал.

Лиля уже перехватила её обеими руками, взвесила, будто на рынке, и кивнула сама себе – подходяще.

– Проходите, чего в дверях-то стоять. Вита, и ты давай, разувайся, чай поставлю. У меня как раз пирог, хотя пирог – это громко сказано, так, что было. Творог с изюмом. – Она уже разворачивалась в глубину коридора, говорила через плечо, и голос её отдавался от стен, будто в этой квартире всё было устроено под то, чтобы говорить громко и много. – Илюши нет, на смене, ну да он к десяти.

Вита переступила порог, стянула сапоги. В прихожей пахло варёной картошкой и стиральным порошком – тем самым, «Лотосом», в жёлтой пачке, который у всех одинаково пах. Из ванной доносился плеск: там, наверное, замачивалось бельё, оттого и руки у Лили были мокрые.

Из глубины квартиры, шлёпая по паркету носками, вылетела Таня – в спортивных штанах с обвисшими коленями и растянутой майке, волосы наспех собраны на макушке.

– Тётя Вита! Дядя Петь! — Она тормознула у стены, чуть не проехавшись на носках. – А вы к нам? А Лиза? Лиза где?

– Дома, устала, – сказала Вита.

Таня прищурилась, будто в этом «устала» пряталось что-то ещё, и Вита увидела, как в лице девочки шевельнулась не то обида, не то любопытство.

– А что за день-то? – спросила Таня.

– Так олимпиада же. По немецкому. – Вита не удержалась, сказала с той негромкой гордостью, которую держала весь вечер и всё некуда было деть. – Первое место в области взяла. Всю Тверь обошла.

Таня замерла на секунду. Потом ахнула, коротко, всем телом.

– Первое?! Лизка?! – Она уже развернулась, метнулась в комнату, вернулась с телефонным аппаратом на длинном перекрученном шнуре – красный, «Спектр», тащила его за собой, как на поводке. – Дай мне позвонить, ба... мам, Ане скажу!

– Шнур не порви, второй раз чинить не буду, – донеслось с кухни.

Таня уже утаскивала аппарат обратно к себе, придерживая трубку подбородком, накручивая палец на витой провод. Дверь она за собой не закрыла до конца – осталась щель, и Вита, проходя мимо в кухню, невольно заглянула.

Комната была вся Танина, до последнего угла. Над кроватью – плакат «Ласкового мая», уголок с одной стороны отклеился и загнулся, Юра Шатунов смотрел с него грустно и куда-то в сторону. На столе – учебники горой, не стопкой, а именно горой, будто их сгребли в кучу локтем, чтобы освободить место; поверх лежала открытая тетрадь и пузырьёк лака, розового, с кисточкой, наспех воткнутой обратно. Пахло этим лаком – резко, сладко, ацетоном – и запах этот перебивал даже картошку из кухни.

Таня сидела на полу, привалившись спиной к кровати, трубка у уха.

– Ань. Лизка первое место взяла, по немецкому, в области, представляешь?

Вита постояла ещё секунду. Не всякий так. Иная бы поджала губы. А эта – сразу к телефону.

На кухне Лиля уже вытряхивала сумку на клеёнку стола – доставала свёртки, разворачивала, откладывала.

– Ой, сало-то какое... Петь, где брали?

– Своё.

– Сво-оё, – протянула Лиля уважительно, будто это слово всё объясняло. Понюхала завернутое в газету, отложила в холодильник. – А масло? Тоже деревенское?

– Тоже.

– Яблоки! Я так по ним соскучилась.

Дима, до сих пор молчавший у притолоки, кивнул подтверждающе, но в разговор не полез – стоял, привалясь плечом к косяку, руки в карманах, смотрел, как мать разбирает продукты.

– А на рынке-то как сейчас? – Лиля не оборачивалась, складывала пакет к пакету, но в голосе появилась та особая цепкость, с которой женщины спрашивают про цены. – Картошка почём?

– Тыщу двести, – сказал Пётр, усаживаясь на табурет.

– Ох ты. А была девятьсот.

– Была.

– А масло? Сливочное, которое в магазине.

– Не смотрел. Дороже, чем ты думаешь.

Лиля покачала головой, отправила в холодильник последний свёрток, захлопнула дверцу, и холодильник отозвался знакомым глухим стуком.

– Всё дороже, чем думаешь, – сказала она, ни к кому не обращаясь, и потянулась за чайником. – Садитесь уже. Чего стоять-то.

Вита села к столу. От чайника пошёл первый парок, оседая на холодном оконном стекле, за которым уже было черно и мелко посверкивали фонари над заводской дорогой. Тепло здесь было, у Марковых. Шумно, тепло, уютно.

Вита сидела с краю стола, у батареи, и держала руки на коленях. Здесь всё было по-другому, не так, как у них с Петром: клеёнка в мелкий цветочек, старый гарнитур цвета топлёного молока, календарь с котёнком на дверце шкафа.

Лиля разлила чай, простой, из заварника, тёмный, почти чёрный. Себе последней. Села напротив Петра и обхватила чашку двумя ладонями, будто грелась, хотя на кухне было не холодно, даже жарко от плиты.

– Ты, Петь, не думай, – сказала она вполголоса, так, чтобы в детскую не долетело, где возились Стася с Дениской. – Мы держимся. Просто вот... Илья третий месяц толком без зарплаты. То дадут половину, то опять – потерпите, товарищи. Товарищи. – Она усмехнулась в чашку. – Милиция, называется. Кто ж их защитит, если им самим гроши платят, да и те...

– МВД задерживает?

– А кто ж ещё. Наверху сидят, руки разводят. – Лиля отпила, не отрывая рук от чашки. – Я одна на своей ставке и тяну. Завкадрами – звучит-то как. А получка – курам на смех. Только курам-то хоть зерно есть, а у меня трое.

Пётр кивнул, глядя куда-то поверх её плеча, в окно. Он всегда так – слушал, кивал, а сам будто считал что-то про себя. Вита знала это его молчание. Оно не было равнодушным. Он просто складывал в уме – где что взять, куда что деть.

– В МММ не вкладывались? – спросил он наконец.

Лиля отмахнулась свободной рукой, не выпуская чашку из другой.

– Илья запретил. Категорически. Говорит – пирамида это, Лиль, обвалится, и всё, останешься без штанов. – Она поджала губы. – Соседка вон, Раиса с пятого, две полочки туда снесла. Показывает бумажки – глаза горят. Дивиденды, говорит. А я смотрю на неё и думаю: дура ты, Раиса, или счастливая, не пойму.

Пётр усмехнулся – коротко, одними углами губ.

– Правильно говорит Илья. Пирамида. Верхние снимают, нижние платят. Пока новые несут – стоит. Перестанут нести – рухнет в один день. И бумажки эти твоей Раисе – на растопку.

– Вот и я про то. – Лиля вздохнула, будто ей стало чуть легче оттого, что кто-то ещё думает так же. – Только знаешь, Петь, оно ведь как... Живёшь, живёшь, и всё вроде правильно делаешь. Не пьёшь, не ворует, работаешь. А приходит месяц – и нечем. И начинаешь думать: может, оно и надо, как Раиса. Хоть бы разок повезло.

Вита смотрела, как Лиля держит чашку – двумя руками, наклонив голову, будто над этой чашкой можно было согреться от всего сразу: от денег, которых нет, от мужа, которого не видно дома, от зимы, которая никак не кончалась хотя уже март. Пар от чая поднимался ей к лицу и таял.

За окном темнело рано. Фонарь на углу мигал, никак не мог разгореться – то вспыхнет жёлтым, то опять погаснет. Пётр глядел туда, на этот фонарь, и молчал. Вита знала: он сейчас думает про завод, про ваучеры Котова, про то, что будет, если завод упадёт. Он всё это утром вслух говорил, у них на кухне, разбирался сам с собой.

А Вита думала о другом. О том, что вот сидят они, три взрослых человека, за чужим столом с вытертой клеёнкой, и все считают в уме одно и то же – как дотянуть. Лиля тянет двоих и мужа-милиционера, которому хоть и платят, но мало. Они с Петром – Диму, и Лизу теперь, племянницу, брошенную одну в квартире, пока родители мотаются между Тамбовом и Польшей. И у Котовых, куда они сейчас поедут, – то же самое, только Сергей ещё и чужие бумажки собрал, на себя ответственность взял.

Что будет со всеми ними – вот чего Вита не знала. И боялась не за себя даже – за детей. За Лизу с её грамотой, за этих двоих в детской, которые сейчас смеялись из-за стены, не зная ещё ничего. За Таню, которая теперь болтала уже с Лизой.

– Ты капусту-то возьми, – сказала Лиля, вдруг поднимаясь и вытирая руки о полотенце. – У меня ведро полное, не съедим. Тебе, Вит, в баночку положу. Своя, хрустящая.

– Да что ты, Лиль, у вас самих...

– Бери, бери. – Лиля уже гремела крышками в кладовке. – Чего там. Свои же.

Вита посмотрела на Петра. Тот всё смотрел в окно, где фонарь наконец разгорелся ровным жёлтым светом, и лицо его было спокойным – тем спокойствием, за которым она давно научилась видеть тревогу.

Через полчаса Вита и Пётр были у Котовых, где пахло чистотой и яблоками — так, будто кто-то сначала вымыл полы, а потом поставил на подоконник миску с антоновкой. Вита переступила порог и сразу почувствовала: тут другой воздух, чем у Марковых. У Лили в прихожей на вешалке висело всё сразу — детские куртки, чей-то фартук, авоська, – и половичок вечно сбивался в угол. Здесь же в коридоре стояли только две пары тапок, ровно, носками к стене, и больше ничего. Ни пылинки. Ни забытой варежки на батарее.

Вита машинально одёрнула рукав, будто сама принесла с улицы что-то лишнее.

Галя вышла им навстречу – в домашнем платье, но выглаженном, с закатанными до локтя рукавами. Волосы забраны назад так гладко, что видно было, где расчёска прошла.

– А, приехали. Проходите, – сказала она и приняла у Петра сумку, не заглядывая внутрь, просто взяла за ручки и понесла на кухню.

Голос ровный, без лишнего. Не холодный – просто без той бабьей воркотни, которая у Лили лилась через край. Галя не спрашивала, как доехали, не всплёскивала руками. Отнесла сумку, поставила чайник – Вита услышала, как чиркнула спичка, как хлопнул газ, – и вернулась.

– Чаю с дороги. У меня пирог остался, вчерашний, но хороший.

Вита огляделась. Кухня большая, светлая, и вся словно с фотографии из журнала «Работница». Гарнитур обычный, советский, но дверцы протёрты до блеска. На столе клеёнка в мелкую клетку, чистая. Даже сахарница стояла ровно посередине, как поставленная по линейке. Вита подумала, что у них с Петей на кухне всегда что-нибудь да лежит не на месте – то газета, то ключи, то Петины очки. А тут такая чистота и порядок.

Из комнаты вышла девочка. Тихо, боком, придерживая дверь, чтобы не стукнула.

– Здравствуйте, – сказала она и остановилась у косяка.

Аня. Вита её раньше видела мельком, у подъезда, но так близко – впервые. Худенькая, в вязаной кофте, застёгнутой на все пуговицы. При Пете сразу подобралась, руки сложила перед собой, будто на уроке. Смотрела больше в пол, чем на них.

– Здорово, хозяйка, – сказал Петя и хотел, видно, потрепать её по плечу, как трепал Лизу, но передумал на полдороге, только кашлянул.

– А как Лиза? – спросила Аня и подняла глаза. Тут они у неё сразу другие стали – живые.

– Она... мне говорили, она первое место заняла. По немецкому. В Твери.

– Заняла, заняла, – Петя кивнул с той сдержанной гордостью, которую он и с Лизой-то не умел выказать иначе, чем через слово. – Грамоту привезла. С печатью.

– Я знала, что она выиграет, – Аня сказала это тихо, но твёрдо. – Она весь февраль зубрила.

Вита смотрела на девочку и думала: вот дома, среди своих, она и оттаяла. Голос появился. А стой тут кто чужой – так бы и молчала у косяка. Домашний цветок, как Лиля про таких говорит. Пересадишь – завянет, а на своём подоконнике цветёт.

За столом, у окна, сидел Сергей. Вита его не сразу и заметила – он не встал, не окликнул, сидел себе над бумагами, разложенными веером по клеёнке. Крепкий, коротко стриженный, в майке-безрукавке. Перед ним лежали листки – плотные, с рисунком по краю, как на деньгах. Один был ближе к краю, и Вита, не желая того, прочла крупное: «ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ ЧЕК». Рядом лежала стопка таких же, перехваченная резинкой, и на верхнем карандашом было написано чьё-то имя.

– Петь, – сказал Сергей, не поднимая головы. Потом всё-таки поднял, кивнул. – Вите тоже – здравствуйте.

– Здорово, Серёж, – Петя присел напротив, и Вита увидела, как он покосился на бумаги. Что-то у него в лице дрогнуло – не осуждение, а другое, тревожнее.

Сергей собрал листки в стопку, не спеша, ровно постучал ими по столу, выравнивая, и убрал под газету. Так же спокойно, как всё тут делалось.

– Садитесь, чего стоите, – Галя поставила на стол две чашки. Аня, достань варенье.

Чайник засвистел. Галя сняла его, не глядя, точным движением руки разлила чай. Кружки простые, на блюде – карамельки, горка сушек.

– Ну вот, – Котов полез во внутренний карман пиджака.

Он достал пачку, перетянутую аптечной резинкой. Положил на стол, снял резинку, разложил бумаги веером, как карты. Вита посмотрела: серые прямоугольники с орлом, с водя-

ными знаками, номера типографские. Похоже на деньги, но не деньги. Что-то среднее между облигацией и квитанцией из сберкассы.

– Вот, Петя, гляди. Это мои. Это Ковалёвы отдали, с четвёртого этажа. Это Марья Степановна, вдова. Это ещё бабки с моего подъезда – я им расписку написал, всё честь по чести. – Он раскладывал, будто пасьянс. – Собираю. Понимаешь, если не я, так придут перекупщики. Они уже в Твери крутятся, по области ездят, скупают у людей вот эти бумажки за копейки. Соберут пакет акций завода – и продадут кому-нибудь на сторону. А тот, кому продадут, завод закроет в тот же день. Ему цеха не нужны, ему земля нужна. Или стены под склад. Вот чего я боюсь, Петь.

Он придавил ладонью разложенные ваучеры, будто они могли разлететься.

– А своим-то как объяснишь? Марья Степановна пришла – я ей говорю: ваучер сам по себе не акция, надо вложить, тогда доля в заводе будет, тогда дивиденды. А она кивает, а сама не понимает, что за слово такое. Думает, я ей проценты с воздуха обещаю. Но я расписку дал – сколько бумажек сдала, такая доля в общем пакете. Дивиденды завод заплатит – я разделю, кому сколько причитается, строго по долям. Всё честь по чести.

Пётр слушал. Не перебивал, только чашку двумя ладонями обхватил, грел. Вита знала это его лицо – оно у него делалось, когда он не согласен, но говорить не хотел прежде времени. Губы поджаты, брови ровные, а в глазах то самое польское упрямство, которое у них всех в роду.

– Красиво нарисовано, – сказал Пётр наконец. – А если завод встанет?

Котов ответил сразу, без запинки, будто вопрос давно ждал:

– Не встанет. Директор – Дёмин. Он завод не сдаст. Он сам оттуда вышел, с цеха начинал, у него там вся жизнь. Пока Дёмин у руля – стоит завод. А если мы, свои, за завод не ухватимся, его и Дёмин не спасёт — перекупят с потрохами.

Пётр кивнул. Медленно, один раз. Вита видела: не соглашался он. Просто принимал к сведению, как принимают сводку погоды – послушал, и всё, а зонт всё равно взял.

Галя подлила Вите чаю, хоть та ещё и половины не выпила. И сказала – тихо, вроде бы ни к кому, глядя в свою кружку:

– КБ тоже думали – не встанет.

Наступила пауза. Короткая, но её было слышно. Котов смотрел в стол, на свои разложенные бумажки, и не поднимал глаз. Аня на подоконнике перестала качать ногой.

Про КБ Вита знала уже – Пётр по дороге рассказывал, всю дорогу об этом и говорил, будто сам с собой. Что закрыли окончательно в феврале, последним инженерам расчёт дали, что сторож Семёныч один теперь при буржуйке сторожит пустые стены. Кабачки – так их тут звали, инженерных. Целый посёлок стоял на этом КБ, институтская сторона вся оттуда кормилась. И вот – тьфу, и нету. Люди, что чертежи чертили, диссертации писали, теперь на рынке стоят, кто с носками, кто с рассадой.

Вита держала чашку. Тёплая, приятная в ладонях. И смотрела на эти серые прямоугольники с орлом. Десять тысяч написано. А стоят – бутылку. Или долю в заводе. Или ничего. Всё разом, смотря как повернётся. Бумага и бумага, а на ней вся Марья Степановна, вдова, что отдала свою, – на что она надеялась, эта вдова? На дивиденды? Сама-то она понимает, что это за слово?

Молчание тянулось, и его надо было чем-то заполнить. Галя двинула сушки поближе к Вите:

– Берите, берите. Домашние почти.

Тогда с подоконника раздался голос – негромкий, но неожиданный, потому что девочка молчала весь вечер:

– А у нас в школе «заводские» – это как ругательство.

Все обернулись. Аня чуть покраснела, что заговорила, но не отступила.

– Ну а что, так и есть.

– Ань, – Галя строго, но негромко.

– А что Ань? – девочка пожала плечами. – Правда так. Ирина Викторовна ругала Лиз...
– она осеклась, глянула на Виту, будто спохватилась, что при родне говорит.

Котов усмехнулся в чай. Невесело.

– Слышал, Петя? Я-то в банке работаю, поэтому Аньку в школе не трогают. Но только Лиза с ней и дружит, остальные чураются, так как Галя заводская. А теперь-то что? Теперь их КБ – пустое, а завод – стоит. Кто теперь заводской, а кто кабачок. – Он обвёл рукой стол с бумажками. – Вот они, кабачки-то, скоро сюда придут, свои ваучеры сдавать.

– Серёж, – Галя опять, тихо.

– Что Серёж. Правду говорю.

Вита пила чай и думала своё. Думала: держится он за этот завод, Котов, обеими руками, всеми пальцами вцепился. Не потому, что верит в дивиденды, – не такой он дурак, чтоб верить. А потому, что если и завод упадёт, как КБ, то что тогда? Банк закроют. Зачем банк посёлку-банкроту. И что делать? На рынок, с носками? Он собрал соседские бумажки не от жадности – от страха. От того, что нужно во что-то верить, во что-то вложиться, что-то делать руками, иначе засосёт. Мужику нельзя без дела и без веры. А вера у него теперь одна – завод, Демин, доля. Он эту веру и себе, и вдове Марье Степановне продал, вместе с распиской.

Ей вдруг сделалось его жалко. И его, и Галю с её чистой кухней и обломанным алоэ, и эту девочку на подоконнике, что уже понимала про ругательство, но ещё не понимала, что за этим стоит.

Пётр допил чай, поставил кружку на блюдце аккуратно, чтоб не звякнуло.

– Спасибо, Галь. Всё, поедem мы, поздно уже. Лиза дома ждёт.

Он встал. И Вита встала, поправила юбку. Галя засуетилась, начала совать им в дорогу – то банку огурцов, то сушки в пакетик, – Вита отказывалась, но не сильно, потому что знала: не отстанет.

– Аня, до свидания, – сказала Вита девочке.

– До свидания.

В коридоре, широко и светлом, Котов пошёл провожать. Одевался Пётр, притопывал, разминая ноги, – засиделся. Котов подал ему руку. Пожал крепко, по-мужски, и не отпустил сразу – держал секунду дольше, чем положено. Смотрел Петру в глаза.

– Ты вот что, Петь. Скажи там Лизиним, родителям. Как приедут или созвонишься. Скажи: завод выстоит. – Он говорил это медленно, будто произносил что-то важное, что должно было дойти дальше, чем до Петра. – Пусть не верят, что тут всё легло. Не всё. Завод выстоит.

Пётр кивнул.

– Передам, Серёж.

И Вита услышала в его голосе то же самое, что было там, на кухне, – принял к сведению. Обещал передать чужие слова, как передают привет: слово в слово, ни за что не отвечая.

Дверь закрылась. На лестнице пахло чужими ужинами, кошками, известкой. Пётр шёл впереди, чуть ссутулившись, банку огурцов нёс под мышкой. Молчал. Вита за ним, придерживаясь за перила.

Внизу, у подъезда, стояла их Газель, и на лобовом стекле уже осел иней. Дима сидел в машине, ждал, курил в приоткрытое окно – видно было огонёк. Как только увидел родителей, сразу выкинул бычок и пересел на заднее сидение.

Газель ползла по посёлку так, будто и ей было тяжело возвращаться. Пётр не гнал – не любил спешить в темноте, да и куда спешить, когда фонари горели через один и от этого улица Институтская делалась похожей на строчку с выпавшими буквами. Вон свет, вон темно, вон

опять свет. Вита сидела спереди, придерживала на коленях пустую сумку – ту, что с утра была полна банок и свёртков, а теперь лёгкую, как выдох. Позади, за плечом, посапывал Дима – задремал ещё у Котовых, привалившись к стеклу, и рот у него был чуть приоткрыт, как в детстве. Снег вдоль дороги слежался в серую корку, местами вытаял до бурой земли. Ни одной живой фигуры. Только собака у мусорных баков подняла морду на фары и снова опустила.

– Приехали, – сказал Пётр негромко, будто боялся разбудить сына, хотя тот и так уже тёр глаза.

Лиза открыла почти сразу, как они постучали, – значит, ждала у двери, слушала шаги. На ней тётин старый халат поверх свитера, волосы забраны кое-как. Вита поправила ей воротник халата — пальцы сами потянулись, слишком уж он топорщился на острых ключицах. Не отпить, не откормить за один вечер.

– А я думала, вы совсем застряли, – сказала Лиза и вдруг улыбнулась, увидев за спиной у Петра заспанного Диму. – О, Димка. Ты чего такой мятый?

– Это я в дороге настоялся, – бурчал Дима, стягивая ботинки. – У вас тут во дворе яму как из пушки выкопали, я думал, мы там и заночуем.

Вита прошла на кухню первой — по хозяйской привычке сразу к чайнику. Пять квадратов, стол у окна, «Минск» тихо гудел в углу. Она поставила воду, достала с полки заварку, а сама краем глаза следила, как Лиза усаживала Диму, как двигала ему табурет – тот, что не шатается.

Сели не как гости. По-домашнему. Пётр расстегнул куртку, но снимать не стал – сидел в ней за столом, локти на клеёнку, руки сцеплены. Вита разлила чай, и пар подымался над кружками, оседал на холодном стекле, и в этом запотевшем квадрате уже было не видно тёмного двора.

Пётр молчал долго. Смотрел в кружку. Вита знала эту его манеру — он не собирался с мыслями, он проверял, стоит ли их вообще говорить.

– Бать, я вот сколько раз уже слышал — заводские, кабачки, вражда. А из-за чего? Чего они не поделили-то? – Дима сделал глоток чая и обжёгся.

– Да ничего не делят. С шестьдесят какого-то года грызутся, кто чище, кто важнее, – объяснил ему отец.

– Не из-за этого спор, – возразила Вита, машинально накрывая ладонью остывающую кружку мужа. – Мне Лилька рассказала, что в конце шестидесятых решили строить экспериментальное КБ. Из разных городов СССР пригласили специалистов, построили огромное семиэтажное здание, начали возводить дома. Так появилась улица Институтская. Заводские с воодушевлением встретили новых жителей, участвовали в стройке, прокладывали дороги. А приезжие посмотрели на них свысока. Они-то все в костюмах и пальто. А местные в ватниках, кирзовых сапогах, деревенские... Вот обида-то где зарыта. Молодые специалисты приехали из Калинина, Ленинграда, Москвы – чистые руки, дипломы. А тут люди труда. И никто никому не уступил.

Пётр усмехнулся одним углом рта, глядя сквозь неё:

– Никто и сейчас не уступит. Только теперь делить нечего. Одни бумажки по карманам прячут, другие землю грызут, чтобы цех дышал. Демин этот завод своими руками строил, он его мёртвому глотку порвёт, лишь бы трубы дымили. Выстоит завод, Вит. Куда ему деваться.

Глава 3

Газета «Комсомольская правда» 5 марта сообщала: «В 1993 году в Москве было найдено 848 неопознанных трупов. В 1992 году – 394 трупа. Без вести в 1993 году в Москве пропало 1044 человека. В 1992 году – 634 человека. На февраль 1994 года зарегистрировано 15218 граждан, выбывших с приватизированных квартир. 1516 запросов не подтвердили проживание этих граждан где-либо в другом месте.

А в посёлке Речкино на третьем этаже Пётр остановился перевести дыхание, а Лиза перекинула авоську из одной руки в другую. Тяжело. Вита сунула её уже в дверях, когда они выходили, – что-то в газете, завязанное сверху узлом, – сунула и ничего не сказала, только поправила Лизе шарф под воротником, накинула кофту на плечи и заперла за собой дверь.

– Держи ровно, – сказал Пётр, – не тряси. Там банка, наверное.

Лиза кивнула. Банка так банка. У Виты всегда было что-то, что нужно передать, – не с пустыми же руками к людям.

Дима зевнул за их спинами и ковырнул ногтем облупившуюся краску на перилах. Ему явно хотелось спать, а не по гостям ходить. Вита спускалась последней, придерживаясь за перила, и на площадке тронула Лизу за плечо – молча, как бы говоря: ничего, дойдём.

Открыла Галя. Свет из коридора упал ей на лицо, и она сначала посмотрела на Диму – быстро, оценивающе, как женщины смотрят на выросших не своих детей, – потом перевела взгляд на Лизу. И оттаяла.

– А, Лизавета. Заходи, заходи. Пётр Казимирович, здравствуйте. И Вита здесь – ну тем лучше, проходите.

Из квартиры пахло варёной картошкой – тем сытным, паровым духом.

– Мы на минутку, – сказал Пётр, вытирая ноги о половик. – Сергей дома?

– Дома, дома. На кухне сидит, газеты мучает. – Галя отступила в сторону, пропуская. – Разувайтесь, тапки там.

Аня появилась из комнаты бесшумно. Она всегда так – не входила, а как бы проявлялась, будто была тут всё время, просто её не замечали. Волосы забраны в хвост, кофта домашняя, растянутая на локтях.

– Привет, – сказала она тихо и, не дожидаясь, потянулась к авоське.

– Сергей! – крикнула Галя в глубину квартиры. – Гости.

Из кухни вышел Котов – большой, в майке и трениках, с газетой в руке, палец заложен на середине страницы, будто он и разговаривать собирался, не отрываясь от чтения. Увидел Петра, оживился.

– О, гость явился. – Он сунул газету под мышку, протянул руку. – Ну проходи, проходи. У меня как раз к тебе разговор.

– У тебя всегда разговор, – сказал Пётр, но пошёл.

– А как же. Время такое. – Котов уже вёл его к большой комнате, на ходу разворачивая газету другой стороной. – Вот тут пишут... ты видел вообще, что творится?

Дима поплёлся за ними, всё ещё сонный, и в дверях обернулся на Лизу – не позовут ли и её, – но её никто не звал. Мужчинам своё. Дверь в большую комнату прикрылась, и голоса за ней стали ровными, глухими, как за стеной в поезде.

Вита задержалась в коридоре – Галя что-то показала ей на вешалке, спросила про нитки, – и Лиза прошла на кухню одна. Аня уже поставила авоську на табурет и распутывала узел на газете. Галя прошла к плите, тряхнула чайник – по звуку прикинула, сколько там воды, – и подставила его под кран.

– Садись, Лиза, чего стоишь. – Галя чиркнула спичкой, поднесла к конфорке. Газ хлопнул, вспыхнул синим венчиком. – Сейчас чаю. Замёрзли небось.

Лиза села. Кухня у Котовых была большая – не то что у неё, пять квадратов, где двоим не разойтись. Тут стоял простой гарнитур, но крепкий, с полированными дверцами, и стол у окна, и новый холодильник в углу, белый, ещё без единой царапины. За окном стемнело совсем, стекло чёрное, и в нём отражалась вся кухня – жёлтая лампа, Галя у плиты.

Аня наконец развязала узел, заглянула внутрь и подняла глаза на Лизу – вопросительно.

– Не знаю, – сказала Лиза, опережая вопрос. – Тётя Вита сунула. Не сказала зачем.

Аня улыбнулась – одними уголками, как её мать в дверях.

– Банка мёда, – сказала она, доставая. – И вроде сало. В тряпке.

– А, – сказала Галя от плиты, не оборачиваясь.

Чайник стоял на огне и пока молчал. Аня отнесла банку к холодильнику, сало положила на стол, разгладила газету ладонью. Всё это она делала не глядя, привычно, и Лиза сидела и смотрела, как в чужой кухне всё стоит на своих местах, и ей было хорошо и немножко неловко – так, как бывает, когда попадаешь в дом, где тебя ждут, а ты этого не заслужил.

* * *

Чайник наконец заговорил – сначала тонко, потом всё гуще, пока не пошёл на полный голос, и Галя сняла его с огня, не дожидаясь свиста. Достала три чашки – не парадные, простые, с синей каёмкой, – и в одну положила пакетик.

– Тебе с пакетиком, Лиз? – спросила она, держа его двумя пальцами, как что-то диковинное. – У нас Серёжа привёз. Lipton. Говорит, теперь так пьют.

– Всё равно, – сказала Лиза. Но Галя уже опускала пакетик в её чашку, будто это само собой, будто гостю положено лучшее, и кипяток пошёл рыжими нитками от бумажки вниз, и запахло чем-то незнакомым, сладковатым.

Аня села напротив, подтянула под себя ногу, обхватила чашку обеими руками. Смотрела на Лизу поверх пара.

– Ну расскажи, – сказала она наконец. – Как там было-то.

– Где.

– На олимпиаде. — Аня чуть свела брови, будто удивилась, что надо объяснять. – Ты чего. Ты первое место взяла.

– А, – сказала Лиза. И почувствовала, как теплеет лицо. – Ну да.

– «Ну да», – передразнила Аня, и это у неё вышло совсем не обидно, а как-то по-своему, тихо. – Я бы умерла. Прямо там бы легла и умерла. Перед всеми говорить.

– Страшно было, – призналась Лиза. И это была правда – она вдруг вспомнила тот зал в Твери, длинный стол, за которым сидело жюри, женщину в очках с цепочкой, которая записывала что-то, не поднимая головы. – Пока стоишь и ждёшь – страшно. Ноги ватные. А потом начинаешь говорить – и как-то... отпускает. Слова же не мои, немецкие, за них не так стыдно. Будто это не ты, а кто-то другой.

Аня кивнула, серьёзно, будто это самое важное, что она сегодня услышала.

– Кто-то другой, – повторила она. – Хорошо, наверно, так уметь. Я вот не могу. У меня если человек чужой рядом – всё, язык проглотила.

– Ракушка, – сказала Лиза, и обе улыбнулись, потому что так её звала Таня.

Галя разлила остаток кипятка в свою чашку, села с краю, боком к столу, – так, как садятся хозяйки, вполоборота, готовые в любую минуту встать.

Аня подула на чай, отпила.

– Таня вчера звонила, – сказала она между делом. – Первый раз – как узнала про тебя. Ой, она орала так, я думала, у меня трубка лопнет. «Лизка первая!» Мамке моей чуть ухо не отдала.

Лиза смотрела в чашку. Рыжие нитки уже растворились, чай стал ровным, тёмным. В груди у неё не было тепла – только стыд, горячий и тесный, как ожог от края чашки. Таня узнала первой и сразу закричала в трубку – не ей, а Ане. А Лиза даже не подумала перезвонить. Весь день прошёл – и ни одной мысли. Ни одной.

– Я ей не звонила, – сказала она вслух, тихо.

– Дозвонится ещё, – отозвалась Аня, не поднимая глаз от чашки. – Ты ей потом скажешь.

Лиза кивнула, но легче не стало. Наоборот – от Аниного спокойного «потом» стыд сделался только острее, потому что никакого «потом» не будет: придёт домой, наберёт номер, а Таня уже всё знает и, наверное, не обиделась – но Лиза сама перед собой останется виноватой. Как всегда.

И правда – такая. И от этого делалось ещё теплее и ещё виноватее, потому что Таня всегда сама, а Лиза всегда где-то в стороне, задумавшись о своём, и всё равно оказывается, что её ждали, ей радовались, за неё орали в трубку так, что чуть ухо не отдавили. Она не знала, за что ей это. Как с той авоськой, которую сунула Вита, – как с этой чужой уютной кухней, где чашку дали лучшую.

– Молодец, Лиза, – сказала вдруг Галя, и Лиза подняла на неё глаза. Галя смотрела прямо, без улыбки, но тепло – так, как смотрят на чужого ребёнка, за которого почему-то радуешься, как за своего. – Родители-то знают уже?

– Звонили. Мама плакала.

– Ну а как, – сказала Галя и отвернулась к окну, к чёрному стеклу, в котором отражалась вся кухня. – Дитё в люди выходит. Тут заплачешь. – И, помолчав: – С таким немецким тебя в институт возьмут. В инязе твоём. Не то что наши тут, кабачки-заводские, друг дружке глотки грызут, а толку.

За стеной, в большой комнате, что-то громко сказал Котов, и Пётр ему ответил ровно, коротко, и снова пошли глухие голоса.

Дверь на кухню приоткрылась, и вошла Вита – в кофте, накинутой на плечи, с усталым лицом, которое сразу смягчилось, как только она увидела их троих за столом.

– Вот они где, – сказала она. – А я думаю – тихо-тихо, куда все делись. – Она положила руку Лизе на макушку, легко, мимоходом. – Ну что, героиню чаем поят?

– Поят, – сказала Галя, поднимаясь. – Садись, Вита. Тебе с пакетиком?

* * *

Вита села к столу, придвинула чашку. Галя опустила в пакетик Lipton.

– Ты пойми, Петь, – Котов говорил громче всех, и голос его пробивал стену, как радио через тонкую перегородку. – Это ж не бумажка. Это доля. Тебе кусок завода в руки дают, вот прямо в руки, а ты его в мусор.

Пётр ответил что-то ровное, короткое, и слов Лиза не разобрала – только тон, тихий и упрямый, каким дядя говорил, когда не хотел спорить, но и соглашаться не собирался. Потом снова Котов, уже мягче, объясняя, как учитель у доски, и опять Пётр – глухо, в самое донышко чашки, наверное. Лиза не вслушивалась. Слова про долю, про акции, про Дёмина сплетались в один тёплый гул, и в этом гуле было спокойно сидеть, с чашкой чая.

– В апреле надо выходить, – сказал вдруг Дима, отчётливо, будто отрезал.

Тишина на секунду. Кто-то отставил чашку – стукнуло по столу. Потом снова пошли негромкие голоса, и Дима уже опять что-то бубнил вполголоса, объясняя, – но Лиза запомнила это слово: апрель. Оно повисло в воздухе, как назначенный срок, только чего срок – она не понимала. Что-то надо будет делать в апреле. Что-то, о чём взрослые знают, а она – нет. Она отложила это в голову, как откладывают монету, которую не на что пока тратить.

Аня без слов подтянула к себе чайник, потрогала бок ладонью – тёплый ли – и подлила Лизе. Рыжий чай пошёл в чашку, тёмный уже, настоявшийся.

– Лиз, – Вита грела руки о свою чашку и смотрела не на неё, а куда-то в чёрное окно. – А чего это у вас в школе-то на тебя? Ты ж не заводская. Ты своя у них, институтская. С чего им?

Лиза помолчала. Галя обернулась от плиты – вроде и не смотрела, а слушала.

– Это не из-за меня, – сказала Лиза. – Это из-за Тани.

– Из-за Тани, – Вита не понимаяще посмотрела на племянницу.

– Мы бы и не познакомились никогда. – Лиза водила пальцем по краю чашки. – Она во второй школе, я в третьей. У нас не общаются. Совсем. Как будто разные посёлки. Я её сто раз, может, у магазина видела и не знала, что она есть. А потом мы обе в больницу попали. С отравлением. В одну палату положили. — Она чуть улыбнулась, вспомнив. – Лежали три дня, деться некуда. Ну и всё. Разговорились.

– И подружились, – сказала Галя.

– Ага. – Лиза кивнула. – Сразу как-то. Будто всегда знали. – Она подняла глаза. — А в классе как узнали, так и началось. Что я с заводской.

– Дуры, – коротко сказала Галя и отвернулась к плите.

– Она хорошая, – сказала Лиза, и в голосе у неё что-то дрогнуло, будто она защищалась, хотя её никто не обвинял. — Она... она не такая, как про заводских думают. Она добрая. Моя мама говорит – пробивная.

Вита смотрела на неё тепло.

– У неё отца нет, – сказала Лиза тише. – Родного. Его машиной сбило, ей четыре было. Она даже не помнит почти. А мама потом за милиционера вышла. Он теперь у нас в посёлке главный, в МВД. Илья Марков. – Она посмотрела на Аню, будто спрашивая, можно ли, и Аня чуть кивнула. – Он её принял как родную. Правда. У них ещё двое своих, а он Таню не отделяет. Никогда. А мама её в кадрах на заводе.

– Ну, нормальные люди, – сказала Вита, пожав плечом. – Отец при должности, мать при работе. Чего им ещё надо-то, в школе твоей?

Лиза не сразу ответила. Она смотрела в чашку, в тёмную гладь, где отражалась лампочка.

– А для них это и есть худшее, – сказала она наконец. – В нашей школе. Милиционер и заводская. Хуже нет. – Она пожала плечами, повторяя чужое, что слышала не раз, что висело в воздухе коридоров и учительской. – Заводские – это второй сорт, так считают. А милиция... милицию они вообще ни во что. Будто это стыдно – в милиции служить. Я не понимаю, почему. Он же людей охраняет. А они морщатся.

Галя коротко хмыкнула у плиты – не весело.

– Так всегда было, – сказала она. – Я когда в литейном работала, у нас инженеры в столовую не заходили, пока мы не выйдем. Брезговали. Кабачки. – Она вытерла руки полотенцем, скомкала его. – А теперь сидят без штанов, КБ их закрыли. И в школе у тебя то же самое.

За стеной опять поднялся голос Котова, что-то про Демина, про то, что завод выстоит, – и снова осел.

Вита протянула руку и накрыла ладонью Лизину – на столе, поверх чашки.

– Ты держись своей Тани, – сказала она просто. – Раз хорошая – держись. Дуры перебесятся.

* * *

– А в школе-то как теперь? – спросила Вита. – С этими самыми, с учителями?

Лиза повела плечом. Ей не хотелось об этом говорить – не потому, что было стыдно, а потому что говорить значило снова всё это чувствовать. Одноклассников она давно научилась не замечать. Они перестали с ней здороваться, перестали давать списывать, отсели на переменах к окну – и она просто ходила мимо, как мимо мебели. Пусть. Это было даже проще, когда никто не лез.

– С ребятами ладно, – сказала она. – С ними я привыкла. А вот учителя...

Она замолчала, водя пальцем по краю чашки.

– Вера Николаевна. По русскому. Она у меня всегда пятёрки за сочинения. Всегда. У меня почерк хороший, я аккуратно, и мысли свои. – Лиза чуть сдвинула брови. – А в этой четверти – четыре. Потом ещё четыре. А в феврале – три поставила.

– За что? – Галя обернулась от плиты.

– Она написала: «неправильное мнение». – Лиза сказала это ровно, но в горле что-то стянулось. – За мнение. Мы про Катерину писали, из «Грозы». Я написала, что она не сдалась, а выбрала. Сама. Что это не слабость. А она сверху красным – «неверно, автор осуждает». И три.

Аня подняла глаза от стола.

– И что, так и оставила?

– Мама Тани... то есть тётя Лиля посоветовала, чтоб я к завучу. Ну и я сама пошла, попросила пересмотреть. – Лиза дёрнула плечом. – Исправили. На четыре. Она сказала, ладно, аргументы есть. Но так посмотрела, будто я ей в чай плюнула.

Вита покачала головой, но ничего не сказала. За стеной снова гудел голос Котова, ровно, без разбора слов – про завод, про Дёмина, про то, что всё будет хорошо.

– С русичкой хоть исправить можно, – продолжила Лиза, и теперь голос у неё сделался тише, суше. – А с математичкой – никак. Ирина Петровна.

Она вспомнила класс – жёлтый линолеум, доску, вечно недомытую по углам, мел, который крошился в пальцах, – и как стоишь у этой доски, и спину сверлит.

– Она ко всему цепляется. Не так встала. Двойку на доске некрасиво написала – вот прямо цифру «два», говорит, у тебя как крючок. Задачу решила – ответ правильный, а решение, говорит, не то. Не тем способом. И три. Садись.

– Ответ правильный – и три? – Аня даже привстала немного. Она мало где вставала в спор, но тут её взяло. – Это как?

– А вот так. – Лиза усмехнулась одним углом рта, невесело. – Она мне на весь класс: «Ох, Новак, Новак. Ты скоро двойку будешь не только на доске видеть, но и в дневнике».

Она замолчала. Самое трудное было впереди, и она не была уверена, что хочет это повторять вслух – в тёплой Галиной кухне, где пахло топлёным маслом и капустой, где было так спокойно. Но слова уже шли сами.

– А потом добавила. Тихо так, но чтоб все слышали. «А знаешь, почему так, Новак? Потому что друзей выбирать не умеешь». – Лиза сглотнула. – «Вот пойдёшь по наклонной. Тебя даже дворником не возьмут. Скажи мне, кто твой друг, – и я скажу, кто ты».

На кухне стало тихо. Только чайник тонко посвистывал, набирая, да за стеной оседал мужской разговор.

– И весь класс смеялся, – сказала Лиза совсем ровно, будто зачитывала из тетради. – Не громко. А она стоит довольная.

Галя со стуком поставила крышку на кастрюлю.

– Это она про Таньку твою, что ли, – сказала она. Не спросила – поняла.

– Про неё. – Лиза кивнула. – Она прямо не называет. Но все знают, про кого. — Она посмотрела в чашку, в тёмную остывшую гущу на дне. – Как будто дружить с кем-то – это уже плохой поступок. Как будто это выбор такой, что тебя за него из школы можно. Дворником не возьмут – из-за того, что я с Таней в кино хожу.

Вита сидела молча, прямая, сжав губы. Потом протянула руку и убрала Лизе прядь за ухо – жестом матери, хоть матерью и не была.

– Дворником, – повторила она тихо, с непонятной интонацией – то ли смех, то ли злость. – Вот ведь. Сама небось за копейки в этой школе горбатится третий месяц без зарплаты, а всё нос дерёт. Дворником.

– Она пьёт, говорят, – вдруг сказала Аня. Так же тихо, как всё, что она говорила, но твёрдо. – У неё муж ушёл. Я слышала, как в очереди мама Ленки Соловьёвой рассказывала.

Все посмотрели на неё. Аня пожала плечами, а что такое.

Лиза подумала об Ирине Петровне: о её крючковой цифре «два» на доске, о том, как та стоит у стола, и мел крошится, и рука подрагивает. И ей вдруг стало пусто. Жалости не было – только пустота. Будто эта злость, что каждый раз обжигала у доски, вдруг оказалась не про неё, Лизу, а про что-то чужое, тяжёлое, чего она не понимала и не хотела понимать.

– Ну и пусть три ставит, – сказала она наконец, тихо. – Я всё равно решу. И ответ у меня правильный.

Галя коротко хмыкнула – на этот раз почти одобрительно – и подвинула к ней тарелку с оладьями.

Лиза опустила глаза. Оладьи лежали горкой, румяные, под салфеткой. Она не взяла сразу – просто смотрела на них, чувствуя, как отпускает внутри то сжатое, что держалось весь разговор. За стеной бубнил Котов, чайник посвистывал. Всё стало обычным, кухонным, тёплым.

Оладьи были ещё тёплые, и Лиза взяла один, хотя есть не хотела. Просто чтобы занять руки. Разговор про Ирину Петровну как-то сам собой осел, растаял, как оседает пена в чашке, и на кухне повисло то домашнее молчание, в котором слышно, как булькает под крышкой картошка да за стеной тянется мужской басок.

– Наклонная, – вдруг повторила Вита, будто пробуя слово на язык. – А сама-то она откуда? Ирина эта Петровна?

Галя пожала плечами, вытирая руки о фартук.

– Да местная. С Гагарина дом. Отец, вроде, в КБ чертёжником был.

– Ну вот, – сказала Вита. – Чертёжник. А туда же.

Лиза смотрела в чашку и думала о своих. О матери – как она рассказывала про Петрозаводск: про дед, который сорок лет отстоял у станка, про бабу с ткацкой фабрики, про то, как в праздник вешали на пиджак ордена и шли на демонстрацию, и это было почётно, и не стыдно, и правильно. Мать говорила об этом с гордостью, а отец – отец вообще был из совсем простых, из тех, кто руками. В КБ он попал уже потом, слесарем-инструментальщиком, и всю жизнь считал, что чертёжники да инженеры – народ хороший, но белорукий, что настоящую работу делают те, у кого под ногтями не отмывается.

И выходило странно. Выходило, что Лиза сама – вся, целиком – из заводских. Из тех самых, с кем ей нельзя дружить. Из тех, про кого Ирина Петровна кривит губы. Отец у станка, мать из фабричной семьи – куда уж заводское. А её саму записали в кабачки только потому, что отец под конец переучился на инструментальщика в КБ. Один поворот судьбы – и вот ты уже белая кость, тебе уже нельзя ходить в кино с Таней.

– Смешно, – сказала она вслух, сама не заметив.

– Что смешно? – Галя обернулась.

– Да так. – Лиза покрутила оладей в пальцах. – Просто у меня дед у станка стоял. И бабушка на фабрике, в Петрозаводске. А мне говорят – с заводскими нельзя. Как будто я не сама оттуда.

Вита усмехнулась – коротко, без веселья.

– Это, деточка, теперь мода такая, – сказала она. – Раньше все были рабочие да крестьяне, и хвастались этим. А сейчас копнёшь – у всех прадеды в дворянах ходили. У одной – купцы первой гильдии, у другой – мещане какие-нибудь, третий вообще из столбовых. Откуда столько дворян-то взялось, если раньше их всех под ноль? Лиз, твоя мама рассказывала, в КБ работала одна, Зоя Кузьминична. Всю жизнь табельщицей. А как всё это началось – вспомнила, что бабка у неё была из благородных, и стала на всех сверху вниз. Табельщица.

Галя тихо засмеялась, помешивая в кастрюле.

– Ой, да сейчас всё смешалась. Прости Господи – уважаемое занятие. Это как в том анекдоте, – сказала она. – Приводят в милицию бабу. Спрашивают: гражданка, как же так, вы учительница английского, культурная женщина – и в путаны подались? А она глаза опустила и говорит: не знаю. Повезло, наверное.

На кухне засмеялись – не громко, устало, но по-настоящему. Даже Аня прыснула в ладонь. Лиза улыбнулась, хотя до конца не поняла, почему смешно, – что-то в этом «повезло» было горькое и точное, и оттого особенно смешное.

– Вот-вот, – сказала Вита, вытирая уголок глаза. – Повезло. Всем повезло. Кто был никем – тот вспомнил, что был дворянином. А кто был рабочим – тому теперь стыдно. Стыдно, что руки в мозолях. – Она посмотрела на Лизу серьёзно. – А ты не стыдись, слышишь? Ты этими руками, деда своего руками, гордись. Он честный хлеб ел. Не то что некоторые – с чужих ваучеров.

Лиза кивнула. Слово «ваучер» пролетело, как всё вечер летали чужие взрослые слова, но она уже почти привыкла – они висели в воздухе кухни, как пар над плитой, как гарь от чего-то далёкого, что горит и не тебя касается, а всё равно тревожно.

За стеной голос дяди Петра стал громче – что-то про Москву, про то, что «эти» приедут и всё скупят за копейки, и голос Сергея Котова в ответ, ровный, упрямый: завод выстоит. Всегда одно и то же. Завод выстоит. Лиза уже знала эту фразу наизусть, как молитву, которую твердят не потому, что верят, а потому, что страшно замолчать.

Галя прислушалась, вздохнула и сняла с полки заварочный чайник – большой, в синий горошек.

– Ну хватит им там всухую совещаться, – сказала она, отирая руки. – Насовещаются – всё одно ничего не решат. – Она приоткрыла кухонную дверь и крикнула в коридор, где сизо плавал табачный дым: – Мужчины! Идите чай пить, стынет уже. И курить прекратите, ребёнок в доме.

Из комнаты донеслось нестройное «идём», скрипнул стул. Аня подвинулась, освобождая место, и Лиза поняла, что вот сейчас всё сдвинется — придут мужчины, кухня наполнится, разговор пойдёт другой, взрослый, про деньги и завод. И ей вдруг захотелось задержать эту минуту – тёплую, тесную, женскую, с оладьями и глупым анекдотом, – задержать хоть ненадолго, пока она ещё длится.

* * *

Мужчины вывалились в коридор, толкаясь плечами, и сразу потянуло сквозняком с лестницы – открыли дверь, чиркнула зажигалка, донёсся первый затяжной кашель дяди Петра. Галя вытерла руки о фартук и заглянула в кухню.

– Вита, пойдём, там на антресолях банки с прошлого года, я одна не достану. Свеколка ещё, хоть сейчас в борщ.

Вита послушно поднялась, и вот они с Аней снова остались вдвоём – как в самом начале вечера, до всех этих ваучеров, до анекдота про табельщицу. На плите остывал чайник в синий горошек. Аня поддёрла щёку ладонью и смотрела на Лизу так, будто хотела спросить о чём-то важном, но всё не решалась.

– Лиз, – сказала она наконец, тихо, чтобы через стенку не услышали. – А ты... ты же останешься?

– Где?

– Ну здесь. В Речкине. – Аня водила пальцем по клеёнке, обводя нарисованную ромашку. – А то родители твои уедут, и ты... к ним, что ли?

Лиза покачала головой. За стеной был слышен приглушённый смех, кто-то из мужчин рассказывал что-то – про завод, наверное, всё про завод. А тут, на кухне, всё было маленькое и понятное.

– Нет. Тётя Вита будет навещать. И дядя Пётр. Я остаюсь. – Она сама удивилась, как просто это прозвучало, будто давно решено, хотя ещё утром всё висело в воздухе, зыбкое.

Аня выдохнула, и щёки у неё чуть порозовели.

– Хорошо, – сказала она. – А то Танька бы... – Она не договорила, но обе поняли: Танька бы места себе не находила. – И я. Я тоже рада.

Лиза улыбнулась. В Ане было что-то такое – она никогда не говорила лишнего, каждое слово из неё будто с трудом выходило, как вода из промёрзшей трубы, но именно поэтому им верилось. Не то что Танькиным – тех было много, они летели, обгоняя друг друга.

– Таня, кстати, – вспомнила Лиза, – на дискотеку зовёт. В «Топаз». Говорит, там теперь по-настоящему, не как в школе. – Она понизила голос. – Там музыка, светомузыка эта, и приезжают со всей Твери. Даже из Москвы.

Аня замерла, палец на ромашке остановился.

– В клуб? – Она посмотрела на кухонную дверь, за которой сопела кладовка и голоса матери с Витой. – Я не знаю... Меня, наверное, не пустят.

— Ты спроси. – Лиза сама не знала, хочет ли туда, но рядом с Аниной осторожностью ей вдруг захотелось быть смелее за них обеих. – Мы вместе будем. И Таня. Втроём.

– Спрошу, – сказала Аня так, будто уже жалела об этом. Но в глазах у неё что-то дрогнуло – не страх, а любопытство, тонкое, как трещинка на стекле.

Из кладовки вышла Галя с банкой в руках, за ней Вита с двумя другими, прижатыми к груди. Свёкла в стекле темнела бордовым, почти чёрным.

– Мам, – сказала Аня, и Лиза услышала, как у подруги перехватило дыхание перед этим коротким словом. – Мам, можно мы с девочками на дискотеку сходим? В «Топаз»?

Галя поставила банку на стол, звякнув о клеёнку, и посмотрела на дочь долгим, взвешивающим взглядом. На кухне стало тихо – только чайник еле слышно потрескивал, остывая.

– Это когда? – спросила Галя.

– Ну... не знаю. Таня скажет.

Вита пристроила свои банки в угол и вытерла руки.

– Пусть сходят, Галь, – сказала она мягко. – Дети же. Один раз повеселиться.

Галя ещё помолчала, потом махнула рукой:

– С отцом решим. Он придёт – спросишь.

В этот момент хлопнула входная дверь, потянуло холодным лестничным воздухом и табаком, и мужчины ввалились обратно, красные с мороза, договаривая на ходу.

– ...так а кому он нужен теперь, этот клуб, – говорил Сергей Котов, стягивая тапки обратно. – Зимин его прибрал, вот пусть и крутятся. Вотчина ихняя.

– Пап, – вклинилась Аня, пока он не ушёл в мысли про завод. – Мам разрешила на дискотеку. В «Топаз». С Лизой и Танькой.

Сергей остановился, посмотрел на дочь, потом на Галю. Что-то мелькнуло у него на лице – не то раздумье, не то усталость.

– В «Топаз», значит. – Он усмехнулся, но невесело. – Ну идите, коли мать пустила. Только к одиннадцати домой, слышишь? Не позже.

– Мы у Таниных бабушки с дедушкой переночуем, – вмешалась Лиза.

– У Мигель, что ли? Добро, – одобрил Сергей.

– Отлично. – Просияла Аня.

– Клуб-то Зимина, – сказал он уже Вите, потянувшись за чашкой. – Владимир его на сдачу взял, когда рынок покупал. Теперь там всё по-другому. Народ валом. – Он говорил это ровно, между делом, как про погоду. – Ну да чего с них взять. Деньги есть – вот и крутят.

Лиза слушала вполуха. «Зимин», «вотчина», «Владимир» – слова опять летели мимо, как весь вечер летели, оседали где-то на краю сознания и таяли. Она думала о том, как это будет – светомузыка, чужие лица, музыка так громко, что не слышно себя. Танька в чём-нибудь ярком, Аня, которая наконец решилась. И почему-то от этой мысли внутри стало тепло и немного страшно сразу – как перед чем-то, чего ещё не было, но что уже, кажется, началось.

* * *

Пётр поднялся первым – как всегда, когда решал, что пора. Он не хлопал по столу, не отодвигал шумно стул, просто встал, и по одному этому движению стало ясно: вечер кончился.

– Ну, Серёж, спасибо за чай. Нам завтра рано. – Он говорил ровно, застёгивая пуговицу на кофте. – Дорога дальняя, а машина у меня, сам знаешь.

– Куда ж на ночь глядя, – сказал Котов, но без настояния, для порядка. Он и сам знал, что не удержит. Поднялся следом, и они пошли в коридор – Пётр впереди, Дима сзади, ещё сонный, помятый, натягивая куртку прямо на ходу, попадая рукавом не в тот рукав.

Лиза встала последней. Ей не хотелось вставать. На кухне было тепло от чайника и от людей, а там, за дверью, в подъезде, начиналось всё то, чего она не понимала, но чем весь вечер был налит воздух – заводы, ваучеры, чужие деньги, зимские, тверские. Слова, которые она сегодня слышала столько раз, что они перестали быть словами и стали чем-то вроде погоды. Тяжёлой, низкой, серой.

В коридоре Котов подал Петру руку. И задержал. Держал дольше, чем держат при прощании, – Лиза заметила это, потому что стояла близко, у вешалки, и видела: две мужские руки, сцепленные, и оба смотрят друг другу в лицо, и никто ничего не говорит.

– Ты передай там, – сказал наконец Котов негромко. – Ну, что говорили.

– Передам, – сказал Пётр.

– Завод выстоит, – сказал Котов.

Пётр кивнул. Не согласился – просто кивнул, чтобы не спорить. Лиза уже научилась за этот вечер отличать одно от другого. Дядя Петя кивал так, когда думал иначе, но не хотел отнимать у человека последнее.

Галя вынесла из кухни банку. Лиза сначала не поняла, для кого, а потом Галя протянула её ей – обеими руками, как что-то, что нельзя ронять.

– На, Лизонька. Смородиновое. С прошлого года ещё, но стоит хорошо, не бродит. – Банка была холодная, из кладовки, стекло запотело сразу, как только оказалось в тепле коридора. – Чай будешь пить – с вареньем оно веселее.

– Спасибо, – сказала Лиза. И повторила зачем-то, тише: – Спасибо, тетя Галь.

Она прижала банку к животу. Та холодила через кофту. Ей стало неловко – у Котовых у самих небогато, а они дают, и не отдашь обратно, обидишь. Она подумала, что так везде теперь: у кого нет, тот отдаёт последнее, а у кого есть – прибирает клубы и рынки на сдачу. Мысль пришла не своя, взрослая, чья-то из сегодняшнего вечера, но легла внутри как своя.

– Одевайся, Лиз, – сказала Вита, подавая ей шапку. – На улице подстыло.

Аня вышла провожать. Стояла в дверях, в носках, обхватив себя руками – в подъезде тянуло холодом снизу, с лестницы. Лиза посмотрела на неё, и Аня посмотрела в ответ, и они не сказали ничего про дискотеку, про «Топаз», про то, о чём говорили вдвоём на кухне полчаса назад. Всё это осталось между ними, невысказанное, и от этого было даже лучше.

Лиза попрощалась с Аней и догнала родственников. Пётр впереди, стуча ботинками, Дима зевал во весь рот, Вита придерживала Лизу за локоть на выщербленных ступенях, когда та, неслась следом за ними. Во дворе стояла Газель. Стекло с ночной стороны уже прихватило морозцем, и Пётр поскрёб его пятернёй, прежде чем сесть.

Лиза устроилась сзади, поставив банку между ног, чтоб не каталась. Дима плюхнулся рядом и сразу привалился к окну. Мотор схватился не сразу – раз, другой, покашлял и завёлся.

Она подняла глаза на дом. Пятый этаж, окно кухни – тёплый жёлтый прямоугольник среди тёмных. А выше, в дверном стекле подъезда, – Аня. Стояла и смотрела вниз, во двор. Свет из-за спины делал её силуэтом, без лица. Лиза подняла руку — не махнула, просто подняла. И Аня наверху тоже подняла – медленно, будто не была уверена, что её видно.

Машина тронулась, и окно с Аней поплыло назад и исчезло за углом дома.

Лиза откинулась на спинку. Фары выхватывали снег, чёрные деревья, забор. Взрослые впереди молчали – устали, наговорились. И она молчала тоже. Утром, когда возвращалась с олимпиады с грамотой в сумке, мир казался ей маленьким и понятным: победа, дом, тётя Вита с продуктами, чай. А сейчас, в темноте, с холодной банкой между колен, она чувствовала, как

этот мир раздался вширь – заводами, деньгами, чьей-то тревогой, которую взрослые весь вечер прятали за словами, – и стал слишком большим, чтобы уместиться в одной голове. И слишком тяжёлым.

Она закрыла глаза. Смородиной пахло даже сквозь стекло – чуть-чуть, кисло-сладко. Прошлым летом. Тем, когда ещё всё было по-другому.